

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

РАССКАЗ

В пятницу, шестого ноября, часов в семь вечера в деревне Шабурново, что на тракте, остановился автобус. Это был старый и обветшалый автобус. Один из тех, кои вместо того, чтобы прямёхонько отправиться на слом, по сей день колятся по российским дорогам, извиняя своё долголетие извечной бедностью Отечества нашего.

Автобус шёл со станции. И пока не кончился город, останавливался довольно часто, выпуская одних пассажиров и набирая новых. Пассажиры толкали друг друга, кричали и переругивались. Но когда высокие каменные коробки за окнами сменились зелёными шалами ёлок и белыми шарфами берёз, все как-то успокоились и притихли, точно это город так возбуждающе действовал на людей. Остановки стали редкими. И чем дальше от города, тем малолоднее становилось у павильонов.

В Шабурново, когда двери со скрежетом распахнулись, из автобуса вышли четыре женщины, одетые в довольно бесформенные куртки с капюшонами и в резиновые сапожки. В руках у каждой было по два тяжёлых, набитых до отказа пакета. Оказавшись на улице, женщины первым делом заматались из стороны в сторону — нужно было перейти дорогу, а они никак не могли решиться, с какой стороны лучше всего обойти автобус. Наконец, громыхая и брэнча, автобус неуклюже тронулся с места, выпустив при этом в лица своим бывшим пассажирам струю чёрного дыма.

Женщины перестали метаться, пропустили автобус и тогда только перешли дорогу.

ЗАМЛЕЛОВА Светлана (Макеева Светлана Георгиевна) родилась в 1973 в г. Алма-Ата. Окончила Российский государственный гуманитарный университет. Автор книги прозы "Гностики и фарисеи". Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Давно стемнело. Снег ещё не выпал, и деревня освещалась лишь редкими тусклыми фонарями да окошками домов. Едва женщины вступили на деревенскую улицу, как в ближайших дворах залаяли, загремели цепями собаки. А вскоре уже не осталось такого двора, где бы не шумели обеспокоенные охранники.

Женщины шли скорым шагом, время от времени останавливаясь и перекладывая пакеты из одной руки в другую. Между собой они почти не разговаривали. И лишь изредка обменивались какими-то замечаниями. Было видно, что они очень торопятся.

И вот кончилась деревня. Кончился разбитый асфальт, кончились тусклые фонари. Женщины шагнули в темноту и вскоре исчезли из виду.

А спустя недолго жёлтые пятна фонарей в лужах покрылись мелкой зыбью. Собаки, попрыгавшие от дождя в конуры, затихли. И Шабурново снова погрузилось в тишину, позабыв о женщинах с большими пакетами. И только дождь шептал о чём-то, пробегая по крышам, голым деревьям и блестящему асфальту.

Женщины, так неожиданно появившиеся в Шабурново и взволновавшие окрестных псов, были известные в городе сёстры Свинолуповы.

Звали сестёр так: Алевтина Пантелеймоновна, Лукерья Пантелеймоновна, Валентина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна. Старшей из них, Алевтине Пантелеймоновне, было не больше шестидесяти двух лет. Младшей, Неонилле, — не меньше пятидесяти семи.

Каждая из сестёр была чем-нибудь замечательна. Так, об Алевтине Пантелеймоновне сёстры говорили, что “она у нас самая добрая”. Это была очень высокая и худая особа с испуганными глазами в рыжих ресницах и похожим на пуговицу носом. Доброта её заключалась в том, что она всегда кого-нибудь жалела и плакала при этом так горько, что, случалось, заражала слезами окружающих.

Лукерья Пантелеймоновна, вертлявая и подвижная, как мартышка, считалась “самой деловой”. Если где-то поблизости случалось продаваться задёшево хорошей вещи, можно было не сомневаться, что Лукерья Пантелеймоновна не просто изыщет деньги, но, изыскав, купит, а после перепродает с такой наценкой, что останется только развести руками и сказать: “Дал же Бог талант!” Дом Лукерьи Пантелеймоновны был битком набит редкими, необыкновенными вещами, на вопросы о происхождении которых Лукерья Пантелеймоновна небрежно отвечала: “Так... Купила по случаю...” И делала неопределённый жест рукой.

Валентину Пантелеймоновну называли “самой умной”, потому что “она всё, ну, абсолютно всё знает!” И действительно, Валентина Пантелеймоновна могла поддерживать разговор решительно на любую тему. Речь свою она всегда начинала словами: “А вы знаете, что...” При этом она склоняла голову набок, поднимала брови и насмешливо смотрела на собеседника из-под полуприкрытых век. Высказывания её носили исключительно сенсационный характер. Объяснялось это просто. Отовсюду, из всех источников информации: будь то книги или газеты, радио или телевидение, слово, брошенное случайным прохожим, или рассказ экскурсовода — отовсюду Валентина Пантелеймоновна пыталась извлечь что-нибудь необыкновенное, поражающее воображение. И всё для того только, чтобы потом, при случае, удивить, сразить, произвести впечатление. Случалось, Валентина Пантелеймоновна попадала впросак. Выхваченные ею факты оказывались зачастую либо недостоверными, либо неверно ею же истолкованными. Но это никогда не смущало Валентину Пантелеймоновну, и на недоумённые вопросы она отвечала коротко: “Не знаю...” Внешностью своей Валентина Пантелеймоновна напоминала пингвина, потому что при ходьбе широко расставляла носки, а плечи зачем-то сводила вперёд, отчего и руки её оказывались торчащими вперёд, как у пингвина крылья. К тому же Валентина Пантелеймоновна была маленького роста и, что называется, “в теле”.

Неонилла Пантелеймоновна была высокой, статной и очень степенной. Служила она в Москве, где-то в Министерстве образования, и слыла среди

сестёр “самой культурной”. Ходила она медленно и с большим достоинством. Говорила мало, а всё больше вздыхала, закатывала глаза и, казалось, всегда бывала чем-нибудь недовольна. Если же Неонилла Пантелеймоновна и поддёрживала разговор, то с одним условием: чтобы разговор этот был на “умную тему”. Речь свою она неизменно пересыпала цитатами и почти всегда предлагала собеседникам либо назвать автора приводимых ею строк, либо же, начав цитировать, предлагала остальным закончить. Если вдруг среди присутствующих находился хоть один, способный справиться с её заданиями, Неонилла Пантелеймоновна очень удивлялась. Если же таковых не оказывалось, Неонилла Пантелеймоновна принималась вздыхать и закатывать глаза, давая понять тем самым, как невыносимо тяжело бывает человеку культурному оказаться в обществе невежд. Глядя на Неониллу Пантелеймоновну, можно было подумать, что у неё есть свои особые взгляды на то, как пристало вести себя чиновнику её уровня. И она этих взглядов неукоснительно придерживается.

Выросли сёстры Свинолуповы с матерью и бабушкой. Отец же их погиб в Великую Отечественную.

Сказалось ли на том отсутствие мужчин в семье, а может, были иные причины, но только личная жизнь каждой из сестёр как-то не заладилась. Алевтина Пантелеймоновна рано овдовела, Лукерья Пантелеймоновна недолго пробыла замужем, разведясь после нескольких лет брака. Валентина Пантелеймоновна имела и мужа, и дочь, но отношения её с домашними оставались почему-то всегда прохладными. Что же касается Неониллы Пантелеймоновны, она, несмотря на своё общественное и служебное положение, так и осталась вековухой.

Как бы то ни было, сёстры Свинолуповы предпочитали держаться друг друга. Выходные и праздники они проводили все вместе, здесь почти не было исключений. И именно поэтому как-то в начале ноября Лукерья Пантелеймоновна сказала:

— А поедете на праздники ко мне на дачу, в Толстоухово!.. Седьмое — суббота. Шестого приедем, переночуем. Седьмого там, восьмого обратно... Отдохнём, погуляем...

Сначала предложение Лукерьи Пантелеймоновны показалось остальным сёстрам нелепым. И Лукерью Пантелеймоновну подняли на смех. Ещё бы! Отправиться на дачу поздней осенью да ещё на несколько дней. Жить в доме без электричества, без газа и водопровода, самим топить печку, самим колоть для этого дрова!.. Но Лукерья Пантелеймоновна, от природы речистая и восторженная, так сочно описывала прелести деревенской жизни, что мало-помалу сёстры сдались. И уже видели себя то с коромыслами — идущими по воду; то с охапками хвороста и дров — собирающимися топить русскую печку; то с огарками свечей — глядящими из тёплой горницы на проливной дождь за окнами. Другими словами, сестёр привлекало именно то, что обычно привлекает в подобных, рискованных на первый взгляд, мероприятиях: умышленное и самовольное нарушение привычного порядка и образа жизни.

— Дровишки постреливают, от печи жар идёт, — прищурив чёрные лукавые глаза, живописала Лукерья Пантелеймоновна, — на улице-то холод собачий, дождь ливня льёт, а мы сидим себе в тепле, посмеиваемся... Еды с собой возьмём, шампанского! Ночевать там есть где — места полно!..

И вот в назначенный день сёстры отправились в Толстоухово.

Надобно сказать, что деревушка Толстоухово — действительно прелестный уголок. До ближайшей автобусной остановки, что в Шабурново, три версты. Три версты широкой колеи, заполненной в летнее время мягкой серой пылью. Идешь, а ноги утопают в горячей пудре. Рядом тихонько скользят голубые тени облачков. Вдоль дороги расселись грачи, погрузив свои белые клювы в землю. Пёстрые жаворонки то камнями падают вниз, то снова взмывают и разливаются в небе серебряными трелями.

А сколько звуков кругом, сколько запахов! Всякая тварь радуется теплу и поёт, не стесняясь, тем голосом, что Господь дал. Поёт, прославляя, как может, Его волю. Всякая травинка, всякий лепесток спешат заявить о себе своим неярким и подчас неказистым запахом. Но как милы все эти деревенские

запах! И даже запах навоза кажется приятным и чем-то необходимым, без чего и деревня-то показалась бы ненастоящей, а точно какой-то бутафорской.

С трёх сторон окружено Толстоухово густым смешанным лесом, где в чаще день и ночь кричат птицы, а в овраге бежит ручей. Вода в ручье железистая, и даже береговые камни покрыты как будто ржавчиной. А во рту после той воды остаётся металлический привкус.

С четвёртой же стороны, слева от дороги, если идти в Толстоухово, к деревне вплотную подступает колхозное поле. И на межу, что разделяет наделы и ниву, серебристо-зелёной волной набегают овёс. Справа же, ближе к деревне, выходит к дороге сосновая роща. Душистой прохладой доносит оттуда в жаркие дни. В час предзакатный, когда не скупится светило на краски, стволы сосен занимают красным сиянием...

В деревне две слободы, по пяти дворов в каждой. Дома здесь большие, старые, из тёмного выщербленного кирпича. Границей между слободами служит зелёный пруд, что в самом центре деревни. Пруд имеет заводь, заросшую ракитником. А ещё растёт на берегу пруда старая берёза. Ствол её так причудливо изогнулся и навис над водой, что кажется, будто берёза собралась усесться в пруд.

Когда-то, польстившись на тишину, уединённость и разнообразность ландшафта, Лукерья Пантелеймоновна купила в Толстоухово полдма и совсем небольшой кусочек земли, намереваясь обустроить здесь дачу. Но поскольку добраться до Толстоухова было непросто, Лукерья Пантелеймоновна так и не сделалась дачницей. А дом, простояв несколько лет нетопленным, очень скоро как-то весь сжался, точно состарился раньше срока, и покосился.

Сначала свет шабурновских фонарей ещё светил им в спины, выхватывая из темноты стволы деревьев, бликуя в лужах. Но потом дорога резко ушла вправо, и за поворотом сразу вдруг стало темно. Всё слилось в густую тьму: небо, поле, деревья. Ни единого силуэта нельзя было различить кругом. Тьма — крошечная, первозданная тьма — окутала путников.

Шёл мелкий, занудный дождь. Небо, очевидно, было сплошь затянуто тучами, и ни луна, ни звезды не показывались. Навстречу дул холодный, мокрый ветер. Пахло грязью и прелой листвой. То, что летом было ласковой пылью, превратилось теперь в тёмную, вязкую жижу, немилосердно хватавшую за ноги и норовившую стянуть сапоги.

Шли молча. И только изредка перекликались, чтобы не заблудиться и не потерять друг друга. Благо, дорога лежала не вровень с полем, а чуть ниже. И уклонявшийся с дороги в сторону всякий раз чувствовал, как упираются носки сапог в мягкую, мокрую землю. Чувствовал и возвращался в колею.

Обогнув сосновый лесок, дорога опять повернула вправо. И тут уж идти стало легче — показались светящиеся окошки Толстоухова. Свету они давали мало, но зато, точно маячки, указывали верный путь и обозначали собой конец утомительному и не очень приятному путешествию.

Предчувствие тепла и отдыха, предвкушение сухой одежды и горячего чая заставили сестёр прибавить шаг. И вскоре они уже шли по деревне, которая встретила их собачьим лаем. Сначала из крайней усадьбы донёсся недовольный брех, потом откуда-то издалека, из другой слободы...

И вот сёстры стоят возле большого, в пять окон дома, уже снаружи разделённого на две половины неким подобием пилястры. Лукерья Пантелеймоновна долго возится с ключами и даже роняет их на землю. И долго потом нащупывает ключи в мокрой траве. Наконец, ключи найдены. Лежат они в заполненной водой ямке чьего-то следа.

Кто-то из сестёр предлагает Лукерье Пантелеймоновне белый носовой платок, сложенный вчетверо. Не глядя, Лукерья Пантелеймоновна принимает и, отерев ключи, суёт его себе в карман.

В доме холодно, темно и так влажно, что трудно дышать. Кажется, вот-вот закапает с потолка вода. К тому же, едва распахнули дверь, как в лица ударяет тяжёлый запах сырости и гнили. Тот самый запах, что всегда охотно селится в старых необитаемых домах.

Войдя, Лукерья Пантелеймоновна шарит рукой за притолокой и достаёт оттуда спички и кусок жёлтой свечи. Отсыревшие спички шипят и гаснут.

Наконец, на одной пламя задерживается, и Лукерья Пантелеймоновна успевае разжечь свечу. И так, впереди Лукерья Пантелеймоновна со свечой в приподнятой руке, за ней остальные, продвигаются сёстры в глубь дома.

Дом состоит из двух помещений. В довольно больших сенях, служащих кухней, к противоположной от входа стене приколочен, непонятно откуда здесь взявшийся, ряд театральных кресел с откидными сиденьями. Кресла, их штук десять, обтянуты красной тканью; сиденья, как во время антракта, прижаты к спинкам. И только на одном сиденье стоит большая тёмная корзина. Пройдя через кухню, сёстры попадают в комнату с русской, красного кирпича печью. Прямо из печки, из щели в кладке, торчит высохший цвет ромашки. А с лежанки смотрит на вошедших большой букет таких же сухих ромашек. И от букета исходит терпковатый запах. Пахнет летом.

За печкой спряталась железная кровать. У стены напротив примостились в ряд низенький шифоньерчик, трельяж без зеркал, диван с приколотой к спинке вязаной салфеткой и горбатый сундук. Посреди комнаты стоят круглый стол и несколько разномастных стульев. Ещё в комнате есть круглое кресло с оборванной синей обивкой. Влажное и необыкновенно зловонное, так что и садиться в него неприятно. Однако при всей своей непривлекательности синее кресло имеет легенду. Поговаривают, будто бы кресло стояло в некоей усадьбе, где во время оно случалось бывать Николаю Васильевичу Гоголю. Но, как не представляющее интереса и не подлежащее восстановлению, кресло из усадьбы, уже давно ставшей музеем, списали и совсем уж было собрались выбросить. Но тут-то его и перехватила Лукерья Пантелеймоновна. И кресло переехало в Толстоухово.

С тех пор всякому, кто попадал к ней на дачу, Лукерья Пантелеймоновна рассказывала, будто бы в этом рваном, заплесневелом кресле сиживал сам Николай Васильевич Гоголь, и предлагала незамедлительно присесть, чтобы таким образом приобщиться к великому...

По стенам, вопреки деревенской традиции развешивать фотографии, висят пастели в белых рамках. На каждой написаны полевые цветы. Изображения тусклые, так как стёкла покрыты слоем серой пыли и чёрными точками — следами мушиной жизнедеятельности.

Войдя в комнату, сёстры пристраивают свои пакеты в гоголевское кресло и тотчас начинают обустраиваться.

Алевтина Пантелеймоновна достаёт привезённые с собой свечи, а Лукерья Пантелеймоновна приносит из кухни майонезные банки. Свечи в банках расставляют по всей комнате: на стол, на трельяж, на подоконники и даже на шифоньер. Становится светло. Неонилла Пантелеймоновна отправляется за водой, а Валентина Пантелеймоновна, вызвав у Лукерьи Пантелеймоновны, где топор, — колоть дрова, сваленные в кучу прямо на открытом дворе.

И вскоре мокрые поленья уже покоятся аккуратной горкой возле топки. А сёстры, поминутно отжимая в ведре с водой тряпки, выданные всем Лукерьей Пантелеймоновной, отмывают горницу.

Неонилла Пантелеймоновна и Валентина Пантелеймоновна, сложившись пополам и широко расставив ноги, размашисто моют пол, продвигаясь навстречу друг другу. Неонилла Пантелеймоновна движется от окна к двери, Валентина Пантелеймоновна — от двери к окну. Лукерья Пантелеймоновна мелкими, беличьими движениями трёт подоконники. Алевтина Пантелеймоновна любовно, точно поглаживая, обчищает мебель. Сначала работают молча. Слышно только, как по временам плещется вода в ведре, да шуршат тряпки. Потом вдруг Алевтина Пантелеймоновна запевае. Поёт она низким, каким-то деревянным голосом. При этом лицо у неё вытягивается, а брови складываются “домиком”.

Скоро о-осень. За окнами а-август!..

Почему-то на словах “осень” и “август” Алевтина Пантелеймоновна не сразу попадает в ноты. А подыскивая нужные, постепенно перебирает всю октаву, отчего пение её в этих местах сильно смахивает на подвывание.

Другие сёстры на секунду оставляют работу, смотрят на Алевтину Пантелеймонову, но тут же подхватывают, запевают в схожей манере.

*От дождя-а-а потемнели кусты-и-и.
И я зна-а-аю, что я тебе кра-а-авлюсь,
Как когда-а-а-то мне нравился ты-и-и-и...*

С песней работа идёт веселее. И несмотря на то, что в доме всё ещё холодно — печку не начинали топить, — и от воды ломит руки, становится как-то уютнее и как будто теплее. Запахло свежeweымытым полом, цветы на пастелях сделались ярче, исчезли со стола мёртвые мухи — горница начинает обретать жилой вид. Лукерья Пантелеймоновна достаёт откуда-то старые газеты. Ими набивают топку и поджигают. Влажная бумага сначала горит неохотно, но потом листы просыхают и разгораются хорошим, жарким огнём. И Лукерья Пантелеймоновна пристраивает в топку несколько мокрых поленьев.

Поленья сохнут медленно и никак не хотят разгораться, так что первое время огонь приходится поддерживать при помощи газет. Но вот одно полено занимается огнём, потом другое... Возле печи становится по-настоящему жарко. Сёстры суетятся, радуются и все разом заговаривают. Достают из пакетов и выкладывают на стол хлеб, масло, варёную картошку в маленькой кастрюльке, яйца, жареную курицу в большой жестяной коробке из-под конфет, две бутылки шампанского, термос с чаем.

Лукерья Пантелеймоновна приносит две раскладушки и тюфяк для железной кровати. Раскладушки разбирают и устанавливают на ребро возле печки; тюфяк тоже пристраивают поближе к теплу, но так, чтобы не попали искры, вылетающие из раскрытой топки. Комната постепенно прогревается. И вскоре уже сёстры решают, что можно раздеться и повесить сушить одежду. Так и делают. С собой привезли всё сухое, и теперь с удовольствием переодеваются. И так приятно ощутить на себе свежее, сухое бельё, пахнущее не то мылом, не то ещё чем-то душистым и уютным — домашним! А после того, как переоделись и развесили промокшую одежду у огня, сразу вдруг все чувствуют голод и усталость.

Валентина Пантелеймоновна ставит на печку чайник: “На всякий случай, вдруг в термосе не хватит...” Лукерья Пантелеймоновна принесла было из кухни тарелки, но Неонилла Пантелеймоновна, предварительно нафыркавшись, велит унести “эту грязь” и достаёт из пакета свои тарелки и свои приборы. Разворачивают, раскладывают еду и усаживаются вокруг. Валентина Пантелеймоновна открывает бутылку с шампанским и наливает всем в пластмассовые стаканы, тоже привезённые с собой.

— Ну, — поднимает она свой стаканчик, — с праздником!

— С праздником...

— С праздником...

Бесшумно чокаются мягкими стаканчиками, отпивают и с удовольствием закусывают.

В комнате пахнет чистыми полами, горящим деревом, свечками, домашней одеждой и едой. Запах сырости почти исчез. Становится жарко.

От жары, оттого, что устали и проголодались, как-то быстро пьянеют. Без причины вдруг делается весело, все говорят в голос, смеются. Хочется шампанского!

— За ревалосью! — кричит Валентина Пантелеймоновна, ударяя своим стаканчиком о стаканчики сестёр и расплёскивая золотистую жидкость.

— Уррра-а! — вторит ей Неонилла Пантелеймоновна, позабыв про чиновничью гордость.

— Да здравствует велик актяпська сасиалисиська ревалосья! — подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.

Смешно всем до слёз, до боли в животе, до немоты, когда уже не можешь смеяться, а только безмолвно сотрясаешься и стонешь.

И только Алевтина Пантелеймоновна, относящаяся всерьёз и к Октябрьской революции, и ко всем её вождям, не смеётся, а только в ужасе смотрит на сестёр. Всё то, что они выкрикивают, кажется ей страшным кощунством.

— Как не стыдно! — пробует она увещевать сестёр. — Как не стыдно! Великая Октябрьская социалистическая революция принесла освобождение народам царской России! Если бы не Революция... вы бы... вы бы сейчас пахали! Вы бы читать не умели!

— Урра-а-а! — пуще прежнего кричит Неонилла Пантелеймоновна. — Да здравствует всеобщая грамотность и освобождение женщин Востока! Да здравствует электрификация всей страны и восьмичасовой рабочий день! Урра-а-а!

— Да здравствует велик актяпьска сасиалисиська ревалюсыя! — кричит Лукерья Пантелеймоновна. И, пихая Алевтину Пантелеймоновну в бок локтем, просит:

— Не плачь, Алька! Лучче Расскажи, как Зимний брала!

— Урра-а! — подхватывает Неонилла Пантелеймоновна. — За взятие Зимнего!

— Как не стыдно! — не унимается Алевтина Пантелеймоновна. — Вот послушайте, что писал Антон Павлович Чехов... — и, закрыв глаза, она цитирует по памяти. — “А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба...” Это мальчик пишет письмо своему дедушке!.. И вот ещё: “меня все колотят, и кушать страсть хочется”. Понятно вам?! “Кушать страсть хочется!” — и Алевтина Пантелеймоновна многозначительно кивает на стол. Все умолкают, точно всем вспомнился вдруг Ванька Жуков, а Валентина Пантелеймоновна, воспользовавшись паузой, обводит сестёр насмешливым взглядом и произносит:

— А вы знаете, что Лев Толстой называл рассказ “Письмо Ваньки Жукова” самым лучшим рассказом Чехова?

Сёстры внимательно слушают её, но долго думать о серьёзном и неприятном им не хочется, и Неонилла Пантелеймоновна вдруг начинает притворно плакать и завывать:

— Ми-ильый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!

— Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы! — подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.

А Валентина Пантелеймоновна, глядя на то, как дурачатся сёстры, снова принимается хохотать, раскачиваясь на стуле, то наклоняясь вперёд, то откидываясь назад и держа всё время руками за край стола.

— Ми-ильый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!

— Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы!

И только Алевтина Пантелеймоновна, сумевшая сама себя разжалобить, тихонько смахивает слёзы и всё качает головой, точно сиюсь отделаться от истомивших её воспоминаний и мыслей.

Насмеявшись, принимаются пить чай. А после пятой чашки, когда прошло уже опьянение, угасло веселье, становится скучно и начинается хотеться спать. Вспоминают вдруг, что за окнами идёт дождь, и прислушиваются. Дождь бегаёт по крыше, стучит по стёклам, шебаршится в траве. А в комнате жарко, постреливают дрова, потрескивают свечки в майонезных банках, и ещё что-то такое потрескивает и поскрипывает в доме, но никто не понимает, что именно. И, прислушавшись к шуму дождя, осознают, что сидят в тёплой комнате, где чисто, где в изобилии еда и чай, а ещё совсем недавно шли по тёмному полю, где ноги увязали в грязи, и где невозможно было укрыться от дождя. И осознав, прочувствовав всё это, вскакивают из-за стола, суетятся. И всё только с одной мыслью — поскорей улечься спать. Думать о сне кажется им блаженством, точно осталось последнее неизведанное удовольствие. А их было так много за сегодняшний день — жаркая печка, сухая одежда, горячий чай. И вот осталось последнее — мягкая постель.

Лукерья Пантелеймоновна, на правах хозяйки, выбирает для ночлега диванчик с кружевной салфеткой на спинке. Валентине Пантелеймоновне, как “самой миниатюрной”, достаётся железная кровать за печкой. Алевтине Пантелеймоновне и Неонилле Пантелеймоновне приходится довольствоваться раскладушками, которые ставят посреди комнаты, аккуратно напротив двери. С собой привезли и постельное бельё, так что можно не отказывать себе в удовольствии спать раздевшись.

— Раздевайтесь! Раздевайтесь! — призывает Алевтина Пантелеймоновна. — Неллочка, сними рубашку — пусть тело дышит! В одежде не выспишься — тело должно дышать... Снимайте с себя всё! Пусть тело дышит!

Стелая постели, закладывают в печку все оставшиеся поленья, проверяют, открыта ли вьюшка, гасят свечи, раздеваются и с радостным криком укладываются. И потом, блаженно пожимаясь и улыбаясь от удовольствия, засыпают.

Но спать недолго. Очень скоро дрова в печке прогорают, и дом начинает остывать. Из-под двери, из щелей в летних рамах ощутимо тянет сыростью и холодом.

Первой начинает ворочаться на своём диванчике Лукерья Пантелеймоновна. Ей снилось, будто она голой бежит по деревне и втолковывает сама себе: “Пусть тело дышит! Тело должно дышать!” Но чем дольше она бегала, тем сильнее замерзала.

Проснувшись, она пытается укутаться, подоткнуть со всех сторон одеяло, но это ничего не даёт. Тогда она решает одеться. Вылезши из-под одеяла, она, стуча зубами, нащупывает на стуле рубашку, спортивные брюки, носки и, натянув на себя всё это, снова кутается в одеяло.

В то же самое время одна за другой просыпаются Неонилла Пантелеймоновна и Алевтина Пантелеймоновна. Поворочавшись немного и тщетно попытавшись согреться, они следуют примеру сестры.

— Это Алька всё! — ворчит Лукерья Пантелеймоновна. — “Пусть тело дышит!” Надо же додуматься!.. Майская дачница...

В комнате так темно, что даже окон не видно, и только в топке то и дело вспыхивают красными огоньками тлеющие угли. И тогда кусочек печки озаряется слабым красноватым светом.

На какое-то время сёстры стихают и даже начинают задрёмывать. Но угли в печке темнеют, всё реже вспыхивают красные огоньки, и холод всё более безнаказанно чувствует себя в комнате.

Лукерья Пантелеймоновна снова просыпается. Теперь уж она замёрзла и в одежде. Других одеял в доме нет, куртки не успели просохнуть, и Лукерья Пантелеймоновна никак не может сообразить, как же теперь согреться. От безысходности ей делается страшно и как будто бы даже холоднее. Но чтобы выйти на двор, принести дров и растопить печку — такое даже не приходит Лукерье Пантелеймоновне в голову.

— Что это так холодно? — недовольно спрашивает проснувшаяся Неонилла Пантелеймоновна. — Лукерья, ты не спишь?

— Не сплю! — раздражённо отвечает Лукерья Пантелеймоновна.

— Почему так холодно? — повторяет Неонилла Пантелеймоновна и поёживается.

— Почему, почему... — злится Лукерья Пантелеймоновна. — Дрова прогорели, дом настыл — вот и холодно.

— А больше дров нет? — отзывается Алевтина Пантелеймоновна.

— В доме нет...

— А где есть?

— На улице... Колоть их надо...

— Дык сходи, наколи, — недоумевает Алевтина Пантелеймоновна.

— Дык сама и сходи... Умная!.. — огрызается Лукерья Пантелеймоновна и отворачивается к стенке.

Поджав ноги к груди и накрывшись с головой одеялом, она, чтобы хоть как-то согреться, дышит себе на руки. Но очень скоро под одеялом становится душно, и она принуждена высунуть голову наружу.

— Луш!.. Луш! — тихо зовёт Алевтина Пантелеймоновна. — Луша! Я не умею дрова колоть.

— А я умею? — снова огрызается Лукерья Пантелеймоновна.

Она отлично знает, кто предложил провести выходные в деревне. К тому же долг хозяйки — обеспечить гостей приятный отдых. И, говоря по-честному, Алевтина Пантелеймоновна права — надо бы встать, наколоть дров, снова растопить печку и провести остаток ночи в тепле. Но сама мысль о том, чтобы оказаться сейчас на улице, где так холодно и темно, где льёт бес-

конечный дождь, кажется ей отвратительной. И от одной этой мысли её начинает подташнивать.

Но делать всё-таки что-то нужно.

— Валька умеет дрова колоть! — вспоминает она. — Разбудим Вальку, пусть она наколет.

Некоторое время проходит в молчании. Потом Алевтина Пантелеймоновна вздыхает:

— Жалко!

— Чего тебе жалко? — не понимает Лукерья Пантелеймоновна.

— Вало жалко будить.

А и правда! Валентина Пантелеймоновна, волею судеб оказавшись в тёплом закутке за печкой, не успела ещё замёрзнуть и теперь сладко посапывает со своей железной кровати.

Лукерья Пантелеймоновна, привстав на локте, с завистью смотрит в её сторону.

— Ну, если жалко, — обращается она к Алевтине Пантелеймоновне, — мёрзни дальше...

Сказав, она снова ложится и кутается в своё бестолковое одеяло. Внезапно в голову ей приходит замечательная идея.

В два прыжка она оказывается возле шкафа, распахивает створки и долго стоит так, точно силится вспомнить о чём-то. А из шкафа тем временем выползают запахи нафталина и сырости. Лукерья Пантелеймоновна несколько раз визгливо чихает, а после, схватив в охапку вещи, покоящиеся на одной из полок, направляется к раскладушкам.

— Сейчас я вас укрою! — обращается она к сёстрам.

Те напряжённо всматриваются в темноту, стараясь угадать замыслы Лукерьи Пантелеймоновны, и охают, когда на Алевтину Пантелеймоновну сверху падает грудa влажного и отвратительно пахнущего тряпья.

— Луш, что это?! — в ужасе шепчет Алевтина Пантелеймоновна. — Что это так пахнет?

Но Лукерья Пантелеймоновна не отвечает. Она снова исчезает в темноте, а вскоре за тем и Неонилла Пантелеймоновна оказывается равномерно засыпанной какими-то тряпками.

— Фу! Ну и запах! Что это у тебя такое, Лукерья? — доносится из-под тряпок.

— Это вещи из шкафа, — поясняет, наконец, Лукерья Пантелеймоновна.

Кто же не знает, что обычно хранится в дачных шкафах? Конечно, тот самый хлам, который давно уже непригоден в городе, но который бережливые хозяйки не решаются препроводить на свалку. Здесь, в дачных шкафах, находят свой последний приют чинёные простыни, давно вышедшие из моды сарафаны, проеденные молью свитера и кофточки, прожжённые уютного блузы и ни на что не годящиеся отрезы ситца. Всё это, во избежание окончательного тлена, как следует пронафталинено. А, кроме того, не будучи востребованным, никогда не покидает пределов шкафа, где год от года отсыревает и пропитывается тем запахом, что расплзается по дому после неоттапливаемой зимы.

“Укрыв” вот эдаким хламом сестёр, Лукерья Пантелеймоновна вслепую, вытаращив в темноту глаза, пробирается в тот угол, где стоит горбатый сундук. Для себя, очевидно, Лукерья Пантелеймоновна приберегла нечто другое. Подняв тяжёлую, скрипящую крышку, она долго роется в сундуке, на ощупь отыскивая нужную ей вещь. Наконец, извлекает из сундука что-то большое и, судя по тому, как она кряхтит, управляясь с вещью, очень тяжёлое. Потом она встряхивает это что-то, визгливо чихает и тащит к себе на диванчик.

Почувяв новую и сильнейшую струю нафталина, Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна шумно двигают носами и негодуяще отфыркиваются. Но Лукерья Пантелеймоновна от объяснений уклоняется. Взвалив свою ношу на диванчик поверх одеяла, она сама подлезает под эту кипу и скрывается под ней.

Валентина Пантелеймоновна просыпается только под утро, когда за окнами уже виднеется серое, беспросветное небо, на стёклах заметны следы

дождя, а из деревни доносятся первые звуки, напоминающие о том, что новый день начался.

Валентина Пантелеймоновна просыпается от холода — только сейчас она замёрзла. Проснувшись, она некоторое время лежит без движения, пытаясь припомнить, где она и как сюда попала. Наконец, сообразив, что к чему, она собирается встать и одеться, но останавливается в замешательстве. То, что она видит в комнате, не поддаётся объяснению. Дверцы шкафа распахнуты, а рядом на полу валяются какие-то вещи. Крышка сундука откинута, и через край свешивается чёрное пальто с каракулевым воротником и драным рукавом, с торчащим из дыры ватином.

В целом впечатление такое, будто бы ночью в комнате производили обыск.

Но самое интересное представляют собой спальные места. Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна погребены под грудой тряпья: мужские кальсоны и рубашки, носки, какие-то цветастые тряпки, куски марли, предметы женского туалета, рваные брюки — словно скифские курганы, возвышаются над телами сестёр.

Лукерья Пантелеймоновна, как старый боевой генерал, спит, укрывшись серой красноармейской шинелью. Самой настоящей суконой шинелью со складкой и хлястиком на спине и с широкими красными нашивками на груди.

Дом окончательно настыл, и в комнате нестерпимо холодно. Но Валентина Пантелеймоновна забывает о холоде — так сильны впечатления нового дня.

— Бат-тюшки! — и это всё, что приходит ей на язык. — Бат-тюшки!

В ответ тряпье на раскладушках шевелится, из-под него появляются головы Алевтины Пантелеймоновны и Неониллы Пантелеймоновны. Под красноармейской шинелью тоже происходит какое-то движение, и в следующую секунду из-под неё выглядывает Лукерья Пантелеймоновна.

Уже за завтраком Валентина Пантелеймоновна узнаёт подробности прошедшей ночи. Ей радостно, что она не мёрзла во сне, и смешно, оттого что сёстры, раздевшись до исподнего с тем, чтобы “тело дышало”, среди ночи принуждены были не просто надеть на себя всё, что только можно было надеть, но и укрыться вонючим хламом.

А после завтрака сёстры, не стовариваясь, начинают собираться в обратный путь. Никто и не вспоминает, что намеревались провести на даче выходные. Все грезят только о том, чтобы как можно скорее оказаться каждая в своей тесной квартирке. Там, где не нужно думать о тепле и о воде. Где можно безмятежно спать всю ночь под тёплым мохнатым одеялом, а вовсе не под шинелью и не под ворохом старых тряпок. Где можно запросто готовить пищу, мыть посуду и хоть всю ночь сидеть при ярком свете электричества.

Серое небо, сырость и стынь больше не кажутся сёстрам чем-то незначительным и легкопреодолимым. Напротив, им, городским жительницам, оказалось не под силу бороться с деревенским ненастьем. Что и говорить! В городе не замечаешь ни дождя, ни холода, которые, как оказалось, способны совершенно обессилить человека, не приспособленного к деревенской жизни, да к тому же нагнать хандру.

Насколько хорошо в русской деревне летом, настолько уныло и безрадостно, когда приходит осень. Нет! Не молодая осень в жёлтом платье. Не опрятная старуха. Одежда её — грязные лохмотья. Злитесь она и срывает костлявой рукой яркие платья с деревьев. Топчет босыми ногами пахучие травы, сминая цветы. Завистница! Не поёт, не шумит она, не смеётся. Только хмурится тучами, шепчет о чём-то дождём или чавкает грязью.

И вот обнажились деревья. На перепаханых полях торчат тут и там колючие злые соломины. Красно-золотой ковёр из листьев смешался с мокрой землёй и, прогнив, стал бурой грязью. Давно не слышно ни щебета, ни стрекотанья, ни даже тоскливой журавлиной песни. Безрадостно в деревне. И только неунывающая ёлка порадует глаз своим тёмно-зелёным кафтаном. Да рябина тряхнёт карминной серьгой, укрывшейся от завистливых глаз старухи-осени...

Сёстры, поджидающие Лукерью Пантелеймоновну, которая возится с

ключами, натянули поглубже кашпоны и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, как застоявшиеся в конюшне лошади.

Когда, наконец, Лукерья Пантелеймоновна управляется с дверью и присоединяется к остальным сёстрам, все вместе они идут по деревне в ту сторону, где начинается дорога, ведущая в Шабурново, к автобусной остановке.

У крайнего дома стоит дед с сигаркой в разноцветных — жёлтых, стальных, золотых — зубах; одет он в потёртый ватник и высокие кирзовые сапоги. На голове у него выцветший картуз. Лицо у деда красное, сморщенное и, точно слезами, покрыто дождевыми каплями; щеки сплошь заросли серебристой щетиной.

Деревенские жители обычно с любопытством и настороженностью относятся к приезжим. Вот и теперь старик не сводит своих прищуренных глаз с сестёр. А когда сёстры ровняются с ним, говорит:

— Здравствуйте...

А тон, с которым он произносит своё приветствие, значит: “Кто такие? Откуда будете? К кому приезжали? Зачем?”

— Здравствуйте... Здравствуйте... — бормочут сёстры, стараясь отчего-то не смотреть на старика.

Только Алевтина Пантелеймоновна встречается с дедом глазами и даже робко улыбается.

— С праздничком... — уже более примирительно добавляет старик, точно хочет сказать: “Кто бы вы ни были, а уж зла-то я вам не желаю...”

— И вас также... И вас также... — кивают в ответ сёстры. А Алевтина Пантелеймоновна даже останавливается, и они со стариком молча смотрят друг на друга. Старик с хитрой ухмылкой в прищуренных глазах, а Алевтина Пантелеймоновна с виноватой улыбкой. Но длится это недолго, Алевтина Пантелеймоновна спешит за сёстрами.

И вскоре они уже выходят из деревни, и перед ними предстаёт всё то, что вчера было сокрыто осенним сумраком.

Вот раскинулось чёрное изрытое поле. Вот выбежали навстречу промокшие сосенки. А в дали, подёрнутой серым туманом, показалась неровная полоска леса, точно кто-то провёл по горизонту широкой кистью. Заурчала под ногами бурая грязь, а в сосновых ветках громко зашуршал дождь, доселе не прекращавшийся, но едва слышимый в поле.

— Уж осени холодною рукою главы берёз и лип обнажены... — с умилением вздыхает Неонилла Пантелеймоновна. И тут же оживает, точно вспомнив о чём-то приятном, и громко спрашивает:

— Кто написал?... Так! Кто продолжит, тому дам сто долларов!

Но никто ей не отвечает. Тогда Неонилла Пантелеймоновна снова вздыхает, но уже с сожалением, и произносит:

— Как странно!.. Вот уж ноябрь, а снега всё нет... А раньше, я это прекрасно помню, к демонстрации обязательно лежал снег. И даже в конце октября, к маменькину дню рождения, случилось выпасть снегу... Я это прекрасно помню!

Сказав, она пожимает плечами, потом с печальной улыбкой обводит глазами поле, рощицу, смотрит на небо и несколько раз уныло кивает, точно хочет сказать: “Всё изменилось!.. И ничего уж тут не попишешь...”

— А вы знаете, что через несколько лет зимы вообще не будет? — насмешливо спрашивает Валентина Пантелеймоновна.

— Почему? — ужасается Алевтина Пантелеймоновна.

— Ну, а что ты хочешь? — притворно удивляется Валентина Пантелеймоновна. — Глобальное потепление, за несколько лет становится теплее на десять градусов. Вот и посчитай, сколько лет осталось... — и она смеётся неприятным и невесёлым смехом, от которого всем делается не по себе. — Раньше-то зима была — сорок градусов, не меньше. А снегу-то навалит! Такие сугробы, что не приведи Господи! В два человеческих роста, во какие сугробы! А сейчас что? Если по колено насыплет снегу, то и слава Богу. И морозы не те. Тут как-то к Новому году дождь шёл! Где это видано, чтобы к Новому году дождь шёл? А?... А всё почему?

— Почему? — опять ужасается Алевтина Пантелеймоновна.

— Да потому что продукты сгорания создают в атмосфере дополнительный слой, который не даёт Земле охладиться, потому что образуется парниковый эффект. Этот слой, как плёнка, обволакивает Землю, и она не успевает остынуть. А человечество тем временем ещё Землю подогревает, ведь какой огромный выброс тепла в атмосферу происходит ежедневно! Так что скоро мы будем в тропиках жить. И не видать нам больше русской зимы! — и она снова смеётся своим зловещим смехом.

Наступает молчание. Все думают о том, что рассказала Валентина Пантелеймоновна. Слова её кажутся всем серьёзными и убедительными. Они многое проясняют, но главное, наводят на любимую мысль большинства немолодых людей: мысль о том, что прошлое несомненно лучше настоящего.

Первой не выдерживает и нарушает молчание Алевтина Пантелеймоновна:

— Раньше вообще лучше было, — вздыхает она. — И погода была лучше, и еда... Сейчас-то вон травятся все. А если и не травятся, так всё равно не вкусно стало. Никогда я не сравню окорок, что раньше-то продавали, с нынешним. Нынешний-то и не пахнет ничем... А раньше?.. В магазин зайдёшь, а уж пахнет окороком. Аромат такой, что не хочешь, а съешь кусочек. А сочный какой! М-м-м! Положишь в рот кусок, а он тает. Прямо сливочный!

Слово “сливочный” она произносит так смачно, так отчётливо и звонко проговаривает каждую букву, что и впрямь на языках у остальных возникает вкус свежих жирных сливок.

— А сыры? — продолжает Алевтина Пантелеймоновна. — Какие были сыры!.. Советский, швейцарский, пошехонский... А сейчас что? Да разве ж это сыры? Смешно говорить!.. Нет! Хороших сыров нынче не достанешь!

Голос у Алевтины Пантелеймоновны начинает дрожать, и она умолкает. Но на смену ей приходит Лукерья Пантелеймоновна:

— А как мы весело жили! Помните? Летом, вечерами, — на танцплощадку. Нарядишься!.. У меня одно-единственное платье было, но зато какое! Помнишь, Алька, ты в нём сначала ходила, а потом тебе новое сшили, а мне перешло твоё креплешинное, чёрное в белый горошек?

— С белым воротничком и плиссированной юбкой? — радостно переспрашивает Алевтина Пантелеймоновна.

— Ну да!.. Вот я его надену, и на танцы! Шестнадцать копеек заплатишь, пройдёшь, а там уж оркестр играет. Мы и вальс танцевали, и фокстрот... А сейчас что? Пойдут на дискотеку, а там — дын! дын! дын! Они патлы развесят и дрыгаются, как припадочные. Называется, танцуют! Тоже мне, танцы!.. Не-ет! Мы веселей жили. Интересней как-то...

И снова наступает молчание. Сёстры с грустными улыбками погружаются в какие-то свои мысли, вспоминая, как хорошо они жили когда-то, как были счастливы; как много было денег, хорошей и вкусной еды, добрых друзей и весёлых праздников. И куда всё ушло? Почему так круто повернулась жизнь? Почему стали тёплыми зимы, бледными закаты и узкими дороги? Как могло случиться, что всё, что было хорошего, исчезло безвозвратно, уступив место худшему?

А дорога меж тем круто взяла влево, и вот уже впереди показалось Шабурново. И точно в подтверждение тому, что раньше было лучше, показались длинные, унылые коровники, разбитые, пустые, с торчащими кусками арматуры из обрушившихся местами стен. Показались вросшие в землю ржавые коряги — пришедшая в негодность или просто брошенная техника. Кто и зачем выбросил эти машины, разбил коровники, куда делись сами коровы — всё это неясно. Ясно другое: раньше всё это работало, а теперь вот кажется, что ещё недавно здесь шли бои и велись бомбёжки.

— Да, другая жизнь настала... — тихо говорит Валентина Пантелеймоновна.

В Шабурново, несмотря на праздник, народу на улице почти никого. И всё же ощущается всюду суета. Во дворах беспокоятся собаки. Откуда-то доносится музыка. Звуки магнитофона, мешаясь со звуками гармонии, образуют весьма странный и неприятный музыкальный лад.

То и дело в окна выглядывают круглолицые тётки и провожают глазами сестёр. Попадается навстречу совершенно пьяный гражданин, очень об-

радовавшийся и оживившийся при виде незнакомок. Потом из магазина выходят ещё два гражданина с гремящими сумками. Бежит навстречу большой рыжий пёс, очень похожий на овчарку, деловитый и насупленный.

У автобусного павильона, где висит расписание — жёлтая табличка с чёрными столбцами цифр, — выясняется, что следующий рейс только через полчаса. Тогда заходят в пустой павильон, расставляют на скамеечке пакеты. Лукерья Пантелеймоновна достаёт из кармана пригоршню семечек и делит между сёстрами.

Образовав полукруг возле пакетов, сёстры Свинолуповы щёлкают подсолнухи, отправляя шелуху себе под ноги, и изучают надписи на стенах павильона. На уровне глаз большими буквами нацарапано: “Я В ШАБУРНО-ВО РОДИЛСЯ И В ШАБУРНОВО ПОМРУ”.

По крыше настукивает дождь, а когда по дороге проносится грузовик, то брызги из-под его колёс долетают до павильона. О Толстоухово сёстры уже не вспоминают.